



С. БОБРОВ

Символист Блок *

У Блока в «Нечаянной Радости» (вторая книга стихов, 1907) есть одно стихотворение, которое, верно, долго останется в памяти его читателей, независимо от того, как они относятся к нему, — пожалуй, трудно быть врагом этого стихотворения: белые стихи, «хореический» двудольник: «Ты проходишь без улыбки, опустившая ресницы, и во мраке, над собором золотятся купола»...¹ Заглавие гейневского «Романцero», размер гейневский, — да много Гейне здесь, а все ж это Блок самый настоящий:

Но с тобой идет кудрявый
Кроткий мальчик в белой шапке,
Ты ведешь его за ручку,
Не даешь ему упасть.
Я стою в тени портала,
Там, где резкий дует ветер,
Застилающий слезами
Напряженные глаза.

И согласитесь, что читателю все это было видеть странно, — тогда в 1907, — после того как специальный отдел книги, «Детское», демонстрировал ему тяжелую смесь подделок под детский способ выражаться, настолько нечленораздельных и в своем роде мрачных, что Белый в рецензии переспросил — детское, а не идиотское?² У Блока был материал для творчества такого рода, но он им не хотел воспользоваться. Этот материал проскальзывал и ранее («Ты у камина, склонив седины...» — в «Стихах о Прекрасной Даме»), далее с большой неровностью он вы-

* О т р е д а к ц и и. Помещая статью С. Боброва о Блоке, редакция оставляет за собой право иного подхода и иной оценки творчества Блока.

рос в итальянский пейзаж в «Ночных часах». Отдаленный намек на очевидность раскалывал для автора тему, она дробилась: эти осколки Блок подбирал, коллекционировал и разрисовывал: вот осколочек смущенья, вот кусочек отчаянья, вот крошка любви Из каждого кусочка выходил стишок, стишки в книжке подбирались по «отделам» (по настроениям)³, получалось: ряд изъятых из существования деталей, собранных воедино. Дюжинка смущений, обработанных по экспрессионистическому методу, производила впечатление глубочайшей безотрадности. Читатель не находил человека в книжке, а получал «отделы», разъятые будто бы художественным опытом членов, собранных тут-то и тут-то по отдельным превалирующим признакам. Мгновение останавливалось чуть ли не по-геттевски⁴: — за остановкой оно умирало, оставался мрачный костяк происшествия, схема не хуже другой, за всем этим шел двойной частокол символистических мероприятий и обязательных для художника-символиста в данной неразрешимости антиномий. Автор говорил: «Страшный мир, он для сердца тесен»⁵ — возражений не имеется, теснота данного мироощущения непередаваема. Блок — поэт, с этим трудно спорить, но он вымер в этих частоколах, вымер начисто и много раньше, чем о том заговорил некролог. Знаменитые «Двенадцать» фактически писаны покойником, только до конца опустошенное сердце в ответ на такие страсти человеческие могло соорудить эту стилизованную под мещанские романсики Глинки и современные частушки безделушку, отлакированную с таким тщанием, что так до сих пор и не разобрать: о чем говорит автор?.. А если ни о чем, то этому произведению может быть обеспечено в лучшем случае равнодушие. Пулемет представляет собой машину с совершенно ясными для любого целями. Блок его выкрасил в гридеперлевый цвет, навязал бантиков: — какая хорошенькая штучка! черт возьми, да это пулемет... Он валяется на столике в где-то зажившемся будуаре, анемичные цыплячьи линийки Анненкова⁶ вертятся по нему, «как какие-то спинозы» (у Лескова)⁷, на улице идет грохот мелких дробных выстрелов: пулемет на улице, пулемет в будуаре... увы, автор сих строк не мистик; какая тема пропадает!

* * *

Писателей в это время не было. Был Баранцевич, Станюкович, а стихи были сданы с подряда Надсону и Фофанову. Был где-то Случевский, но, по собственному признанию, был он «в

уголке»⁸. Там он и оставался, его никто не замечал, и он никому не мешал. Началась декадентщина: Гиппиус плакалась в «Северном вестнике» об Уайльде⁹, Добролюбов оклеивал комнатку черной бумагой¹⁰, Брюсов в Москве запускал «Русских символистов»¹¹. От них пошел адский хохот Вл. Соловьева¹², — он умел смеяться, закинув огромную черную бороду. Сам про себя как-то хихикнул Соловьев: «И когда через селение он задумчив проходил, всех собак в недоумение дивный образ приводил»¹³. Псы, естественно, не выносят Дон-Кихота, привет псам, они знают, что они делают, — но тут не до псов было: завыли, залились и философы. Лай стоял изрядный, — успели три издания распродать: дрянных маленьких брошюрок с гаденькими виньетками. Они выступали темно, эти «символисты», — на золотейшую валюту расценивали они собственное удивление перед своей особой и ее поразительно прокоординированными телодвижениями: все это ставилось в заслугу «новому литературному движению». Авторитеты были недовольны, все было как следует, почти как в Европе. В некоторой постепенности оно наладилось и пришло в свой порядок: Врубель, Мамонтов, Дягилев, милейший С. А. Поляков¹⁴ и многие другие соорудили парочку-другую тетдепонов, прикрывавших переправу начинающих.

Произошла дифференциация и распределение по специальностям. Бальмонт получил роль поэта пар-экселлянс¹⁵, Брюсов — мага¹⁶, отстоялись и два мистика, Белый и Блок. В 1904 г. Блока напечатал «Новый путь»¹⁷, толстый ежемесячник символистов, это были стихи из его первой книги «о Прекрасной Даме». По правде, это производило тогда очень большое впечатление — ведь стихов нигде не было, в «Вестнике иностранной литературы», положим, уже печатали переводы из французских символистов, но что это были за переводы! Под умелой рукой какого-нибудь Львова Бодлэр робко расцветал под стать мадам Жадовской, а кругом: Фофанов, Фофанов, — да еще хорошо, если Фофанов. Тут поблекшие залы замка Прекрасной Дамы и голубой плащ ее возлюбленного, да еще какой-то шатающийся от отчаянья незнакомец с бледным лицом¹⁸, все в очень приятных стихах, в паузных трехдольниках, только что выуженных из немцев и Фета, у которого их не замечали, — ново, оригинально, первый раз в этом городе, — а вкусовое ощущение не оставляет желать лучшего. Скоро вышла и книжка в кречетовском «Гриффе»¹⁹.

В первой книжке этой уже наметился весь будущий Блок. Он наметился в некоторой неясности, но в этом и заключается

особая приятность этой книги, слишком эфемерной, чтобы выдержать длительное истолкование. Фет, Соловьев, Метерлинк и какая-то странная женственная слабость остаются на этой книге. Затаенное настроение каких-то ожиданий (по Метерлинку), высоты, намеченные в пустом пространстве, идея особо высоких любовей к обезвещенному женскому существу в самом неясном из романтических миров — и неожиданнейшее возвращение в этот реальнейший мир, где желательно возобновить ту же обстановку, путем простых переименований окружающего. Обе эти темы объединялись арлекинадой, что в дальнейшем дало «Балаганчик» и другие драмы Блока. Соловьева было немало в этих стихах, но Соловьев был слишком «земным» для Блока. Соловьевский хохот у него разложился в иронию к любому из собственных начинаний. Гофман, высмеивавший мир, применял юмор сентиментального характера. Блок в романтику этого рода вкрапил трагическое спустя-рукавенство достоевщинки. Рядом, бок о бок, печаталось: тоненькое «заревое» происшествие: «я к людям не выйду навстречу, испугаюсь хулы и похвал...»²⁰ и тут же сыроватые мраки с отвратительными карликами, кошмарчики преназойливого свойства. В некотором подобии пьяного тумана разыгрывалась арлекинада, слова старательно смешивались с понятиями, несообразица шла удивительная. Два мира, взаимно противоположных, боролись в Блоке, противоречия оных были заострены до крайности, словно между «верхними» и «нижними» в царстве будущего Уэльсовой «Машины времени»²¹. Тут занавес временно спускается на три года до 1907, когда выйдет в свет «Нечаянная Радость». Художник погребен между двух своих полюсов с самим собой. Он уже получил титул «Певца Прекрасной Дамы», и от него ожидается дальнейшее в том же певучем роде.

Книга своевременно вышла. Белый прочел и написал: «Да какая же это “Нечаянная Радость”? — это Отчаянное Горе»²². В блоковской мистике затворилось «вдруг» что-то неладное. Чертенятки откровенничали со старушкой — «мы и здесь лобызаем подножия своего полевого Христа», этот же Христос далее очутился на капустном огороде²³. Правда, справедливость требует указать, что попал Он туда, собственно, по недоразумению, из-за неожиданно звонкой рифмы (грустный — капустный), прельстившей Блока своим неестественным и бессмысленным противоположением, но, тем не менее, — попал. И вышло что-то ужасно похожее на лешего. Белый уверял — и, кажется, серьезно, — что эта мистика ему не годится. Примерно то же случилось и с Прекрасной Дамой. Но с ней Блок обошелся совсем

зверски. «Исторгни ржавую душу»²⁴, молил он ее и вслед за тем неожиданно поплыл этот блестящий фантом под окнами кабачка, смонтированного со всею роскошью кабарэ ужасов. Ужасы были скреплены с читателем и российскими узами: — около на пруду (на озере, сказал Блок, но он ошибался) катались дачники и раздавался женский визг. В стакане вина отражался лучший друг стихотворца, рядом торчали засыпающие от скуки эпизодические лакеи. Гуляющая публика объяснялась с пространством по-латыни; тут появлялась чудная незнакомка — это было следующее воплощение Прекрасной Дамы. Конец стихотворения относит появление призрака к действию таинственной и терпкой жидкости, наполнявшей стаканы кабачка: видение вышло из стадии непостижимого, в нем раскрылось самое интересное: техника постановки — тут «задание» раскрылось: — бред пьяного человека²⁵. Тема не хуже другой и не заключающая в себе ничего компрометантного для изобретателя.

Читатель пожимал плечами — верить не хотел. Где же Прекрасная Дама? — «в кабаках, в переулках, в извивах», отвечает книга. «В ложе темного зала», выходит из «каретной дверцы», и проч. и проч. Так разлагалась романтика. Мир мстил ей самым жестоким образом, он выворачивал стихотворцу самую гангрену гангренистую своих тухлых кишек в отместку за глухоту к нему, к миру. Блок воздвиг на мир романтический жизненный постулат и ряд зафиксированных в романтическом консерве жизнеценностей, содержание которых было слишком эфемерно и возвышенно для того, чтобы подвергаться истолкованию, — фиксация эта раздроблялась. Она раздроблялась уничтожающим построением бытом, на который автор пытался продолжить свое построение. Человек имеет некогда встретить Прекрасную Даму, в ответ на эту посылку из каретной дверцы в очаровательной неуклюжести выползала увернутая в меха Незнакомка, — она блистала в театральной зале, и тут же выяснялось с отвратительной ясностью, что их много, этих незнакомок и что у этих —

...женщин взор был тускл и туп.
И страшен был их взор...
Что пили ночь и забытье...
Им смутно помнились шаги,
Падений тайный страх...²⁶

Но, сомнений нет, это — она, а посему стихотворение заканчивается славословием:

Но душу нежную, губя,
 В себя вонзая нож,
 Я в муках — узнавал тебя,
 Блистательная ложь.
 — Ты — безымянная! — волхва
 Неведомая дочь!
 Ты нашептала мне слова,
 Свивающие ночь!

Трагедия разыгрывается с того момента, как автор пожелал подчинять быт своим условным директивам. Вся антиномия блоковского героя — называйся он Пьеро или как угодно — исчерпывается обнажением ложного положения автора, изобретателя всей операции. Тут удивляет тот последовательный цинизм, с которым Блок откровенно разорял свою Прекрасную Даму. Роман этой дамы с Блоком — одно из самых несчастных ее приключений. Автор предавал и продавал ее где угодно и как угодно. Разоблаченная женственность оказалась ужасным, аморальным и бесстыжим куском мяса, — кто, спрашивается, в этом виноват? Автор считал, что не он, во всяком случае, и мстил миру в самом себе за подделку. Это «навождение» имело огорчительную тенденцию распространяться с замечательной быстротой. Антиномия героя, обостряясь, в угрожающей постепенности переносилась и на «не-я». Зараза вне мира и автора якобы существующих миро-постулатов — изливается и на самый мир: мир отравлен продуктами разложения этих противоречий: так кончается затея романтизации мира. Обычное ложное положение, трагическое *qui-pro-quo*²⁷, это ужасающий своей простотой вывод затеянной канители: приобщить мир к затаенным субъективным сладостям. Все построение разваливается с легкостью кукольного замка.

Рост поэта в Блоке совпадает с японской войной и 1905 г. Поэт с замечательным чувством самообороны находит подобие выхода из своих, казалось бы, неразрешимых путаниц, — в дикую девку (разных оттенков), куда была усажена мистическая дама Блока, вливается смысл гибнущей от военного разгрома и гражданской войны страны. Так основная тема Блока пополняется совершенно инородными ингредиентами, — сложность комплекса нисколько, конечно, не говорит о его органичности и жизнеспособности, но это факт у Блока весьма важный и определивший в дальнейшем ряд конструкций — до «Двенадцати» включительно. Так место действия привлекается к исполнению роли действующего лица. А обстоятельство места (где? в России?) становится эпитетом (прекрасная). Так автор, превозмог-

ши будто бы ряд своих кошмаров, придвигается к новому «приятю мира». И в «Нечаянной Радости», с одной стороны, идет раскрытие этого места действия и романтизация его, обязательная по замыслу, а с другой — освобождение от образа Прекрасной Дамы, глянувшей на Блока своим раскрашенным личиком столь свирепо, что никакие Метерлинки не помогли. Образ Дамы раздробляется Блоком до основания. Прекрасных дам много и которая из всех прекрасней — и автор уследить не может. Единый образ романтической любви, в этом единстве только и черпающий свое рэзон-д-этр, фактически распыляется до коллективного однообразия женской толпы. Эта многоликость и объединяется блоковским ничем: юродствованием, кривляньем, игрой в дурачка. А разложение быта, роковым образом сопутствующее ее прекрасным шагам, движется далее со странной быстротой. Ангелоподобные тени склеротических любовей гибнут прелестно — «бесовская прелесть», отвечает мистик (Белый). А путаница с ложным положением превращается в спутанность сознания. Стихи обращаются в подобие глоссолалии. Корни «заумной» губной гармоник — здесь, а не где-либо. Обычно Блок тяжелые и мрачные переживания излагает тяжелым, неразработанным стихом, который производит впечатление полной беспомощности, в «Нечаянной Радости» это особенно выпукло и трудно переносимо. Вопрос о стихе вообще у Блока постепенно упрощается до великой крайности — нет необходимости, чтобы слова что-нибудь значили, хорошо уже, если это звучит приятно. Еще С. Соловьев однажды весьма удачно проследил, как Блок в процессе писания плывет без руля и ветрил по своим простейшим ассоциациям. Дальше же и рекомое место действия попадает в общий котел несчастий: — болотная русалочья немочь захватывает округу. И — странное дело — Блок делается поэтом, только отвлекаясь от основной темы и погружаясь в полное бестемье, нахватав себе красивеньких кусочков из всех своих развалившихся темочек. Разлад меж изобразительными средствами и изображаемым доходит до апогея: самое столкновение этих элементов антиномично до конца.

Далее идет крохотная «Снежная маска», написанная Блоком, по некоторым свидетельствам, чуть не в два дня²⁸. Один из предикатов прекрасной «России» со странным упорством взят за основную тему и — «мир оснежен». Оснежен он при помощи самого беззаботного подклеивания эпитета «снежный» к любому слову. Идут: «снежное вино», «снежная вязь», «снежная пена», «снежные места», «снеговая купель», «снежный хмель», «снежные чертоги», «снежные равнины», «белоснеж-

ные крылья», «снежно-синее покрывало», «снежный прах», «снежный сон», «снежный мрак», «снежный крест», «снежные мачты», «снеговой трубач», «снежный зал», «лира снежно стонет», «снежная птица», «снежный бурьян», «снежное серебро», «снежные постели» и, наконец, «снежная кровь», «снежный костер» и «снежный огонь». В результате этого маленького романа в двух маленьких частях («Снега» и «Маски») иностранка, не знающая по-русски, с тяжелозмейными косами, отражающаяся, как и полагается всем героям, в бокале вина, с «готическими» ресницами — распинает героя²⁹. Неразборчивость поэтического почерка достигает максимума: его полевой Христос (нечто вроде лешего) навеки здесь сливается с Незнакомкой и незнакомками всех сортов уже серьезно — самый вульгарный Ропс³⁰ не был бы жесточе к этому образу.

Вслед за этим «Лирические драмы» — тот же Белый назвал их «обломками миров»³¹. Они построены на обнажении того же ложного положения автора и на внедрении довольно беззаботной эротики в черты «снежного» ландшафта, который воспринимался Блоком в конечном счете исключительно как орнаментационная часть мира. Их зловредный нигилизм промежен тут и там грубыми и нарочито-недоделанными аллегориями, зачастую словарного типа. Так называемое «ложное воспоминание» играет довольно большую роль в развитии действия.

Снег же дает Блоку и другую книгу «Земля в снегу». Кажется, в это-то время Блок занимался Пушкиным³², это произвело на него некоторое действие, и в этой книге можно, хоть и не без труда, уловить некоторые изменения принятого им курса. Появляется, хотя и эпизодически, байроновский образ Мэри³³, в котором значительно смягчаются тяжелые черты незнакомок. Однако общее разложение только задерживается и плоскости его развертываются сравнительно быстро в двух планах: 1) женщина с «нагло-скромным диким взором» и 2) мещаночка, «гуляющая с красным бантом и лущащая семечки»³⁴. Одна из них служит для приятного времяпровождения, другая годится от скуки. С первой связаны восторженно-эротические выкрики и цыганщина упоения, к другой относится раздавленный в куски быт и достоевщина.

Уже в этой книге стих Блока достигает высокой отделки, и с этой стороны этим стихам стоит удивляться. Плачевно в блоковском стихосложении одно: секрет блокописаний был с невероятной быстротой раскушен многочисленными фальсификаторами, — а изысканность блоковских форм зачастую удивляла тем, что служила нередко вместилищем или для бессмысленно-

го содержания, или для простой аранжировки цыганщины в самом откровенном виде. Тут Блоку подпортил Григорьев, которым он занимался³⁵, хотя казалось (по его предисловию к стихам Григорьева), что он относится к его темам вполне сознательно. Впрочем, может быть, это пришло позже. С другой стороны, как уже говорилось, везде стих Блока падает до невозможного минимума, описывая неприятные вещи для автора. Блок был поэтом эмоции, куда несли его ощущения, туда он и шел. Настоящее его — в восторженной любовной лирике, в изяществе тоненького описания.

Лучшая книга Блока — несомненно «Ночные часы». Многие очень и очень мрачное из перечисленного нами в этой книге выветрилось. Россия предстала автору в более достойном и трагическом аспекте (Куликово поле). Любовная лирика достигает тончайшего развития («То не ели...»). Везде почти удивляют прекрасным стихом и возвышенной фантастикой итальянские стихи. Плачевны филиппические вещи³⁶, но и они несколько лучше обычного. Является некоторая успокоенность, серьезность и даже, если хотите, строгость, — конечно, все это относительно ранних книг, а не вообще. Вообще-то темы не меняются и лучше всего Блок пишет о лихаче и «диких слабых руках» своей милой³⁷. Это эротическое гутирование может, конечно, нравиться и не всем. Можно, например, требовать от любовного поэта несколько более стыдливого и глубокого отношения к предмету, — но это уже дело вкуса, а предвоенный вкус был воспитан тем же Блоком (с Аверченкой пополам, положим) и с этим не спорил.

За этой книгой идут многочисленные переиздания с многократными исправлениями (не всегда удачными) старых стихов. Затем идет «Соловьиный сад», неинтересный пустячок, горькая безделушка «Двенадцати» и «Седое утро» — совершенно мертвая книга³⁸. Как критик и публицист, Блок не создал ничего заметного. Он — поэт и только поэт.

Судьба Блока мрачна и трагична. Он несет на себе следы всего пережитого Россией за его время. Выбиться из-под общего настроения общества своего времени Блок не мог, да, кажется, и не пробовал. Он остается нам красивым стихотворцем тяжелой и мрачной эпохи, явлением нездоровым, хоть и прельстительным иной раз своей «краткою улыбкой увяданья»³⁹.

